

РУССКАЯ УТОПИЯ / RUSSIAN UTOPIA

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Текстологическая бессонница и стилистический утопизм |

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

Россия, Москва.

Российский институт культурологии.

Старший научный сотрудник. Кандидат культурологии.

Russia, Moscow.

Russian Institute for Cultural Research, Senior Researcher.

PhD in Cultural Science.

allyus1@gmail.com

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕССОННИЦА

И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ УТОПИЗМ

О ВООБРАЖАЕМОМ ПРОДОЛЖЕНИИ ПАРАДА УТОПИЙ,

НАЧАТОМ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ,

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА,

НО С ПЕРЕЛЕТОМ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

На материале романа Анатолия Ливри «Апостат» («Отступник») автор ведет речь об утопических истоках языка и текста и приходит к выводу, что российско-европейский диалог сквозь утопическое измерение оборачивается диалогом текста и жанра. Строительство текста-утопии сопровождается собиранием и рассеянием языка.

Ключевые слова: томление по утопии, возможность языка, говорение, ускользание, катарсис, текст, нарциссизм, эдипов комплекс, эпос

Textual Insomnia and Stylistic Utopianism

This article is about the imaginary ongoing parade of utopias, which began in the first issue of the International Magazine of Research and Culture. In regard to Anatoly Livry's novel, "Apostat" ("Turncoat"), the author talks about utopian sources of language and the text and comes to the conclusion that the Russian-European dialogue, through utopian dimensions, turns into text and genre dialogue. Construction of the utopia text is accompanied by the collection and dispersion of language.

Key words: utopias, possibility of language, catharsis, the text, narcissism, Oedipus complex, epos

Если при обращении к теме утопий не спится и, соответственно, ничего не снится, остается разговор с воображаемым собеседником или с самим собой. Однако в любой ситуации, как писал Р. Барт, «как только язык переходит в акт говорения (пусть даже этот акт свершается в сокровеннейших глубинах субъекта), он немедленно оказывается на службе у власти. В нем с неотвратимостью возникают два полюса: полюс авторитарного утверждения и полюс стадной тяги к повторению. С одной стороны, язык непосредственно утверждителен: отрицать, сомневаться, предполагать, колебаться относительно собственного суждения — все это требует специальных операторов, в свою очередь включенных в игру языковых масок; явление, называемое лингвистами модальностью, — это своего рода привесок к языку, привесок, с помощью которого я, словно с помощью члобитной, пытаюсь умилостивить его неумолимую констатирующую власть. С другой стороны, знаки, образующие язык, существуют лишь постольку, поскольку они поддаются распознаванию, иными словами, поскольку они повторяются; знак несамостоятелен, стаден, в каждом знаке дремлет одно и то же чудовище, имя которому — стереотип: я способен заговорить лишь в том случае, если начинаю подби-

рать то, что рассеяно в самом языке. И едва только свершается акт говорения, оба полюса соединяются во мне: я становлюсь господином и рабом одновременно, я не довольствуюсь повторением того, что уже было сказано, не устраиваюсь поудобнее в узилище знаков, нет, я говорю, утверждаю нечто — я отмечу все, что сам же и повторяю»¹.

Т. е. в языке рабство и власть переплетены неразрывно. Если назвать свободой не только способность ускользнуть из-под любой власти, но также и прежде всего способность не подавлять кого бы то ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Но за пределы языка выхода нет ни в сне, ни в бодрствовании, язык — пространство замкнутое. «Выбраться из него можно лишь ценой невозможного — либо через мистическую единичность, описанную Киркегором, определившим жертвоприношение Авраама как беспримерный акт, чуждый всякому, даже внутреннему слову и направленный против всеобщности, стадности, моральности языка; либо через ликующее ницшевское *amor*, подобное удару, наносимому по рабо-

¹ Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика / Пер. с фр., вступ. ст. и comment. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. С. 549–550.



РУССКАЯ УТОПИЯ / RUSSIAN UTOPIA

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Текстологическая бессонница и стилистический утопизм |

лепству языка, по тому, что Делёз называет его покрывалом, сотканным из рефлексов. Однако нам, людям, не являющимся ни рыцарями веры, ни сверхчеловеками, по сути дела, не остается ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство, эту хитрость, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, во всем великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, — я, со своей стороны, называю *литературой*².

Сила же литературы, ее собственно семиотическая сила заключается не столько в том, чтобы разрушать знаки, сколько в том, чтобы их разыгрывать, вовлекать в работу такого языкового механизма, у которого отказали все стопоры и предохранительные в клапаны.

По мнению Э. Блоха, наиболее сосредоточенного на материале утопий философа, «метафизика должна быть направлена на ожидание утопии, на томление по утопии, а не на ее содержание, и здесь решающую роль играет искусство. Искусство как смещение провидческое дарование», как медиум, Т. е. пространство между эмпирией и трансцендентностью есть необходимый элемент апокалиптического проекта, движения к освобождению и искуплению человечества³. Утопия у Блоха — это возможность речи, способность к высказыванию посреди немого и однообразного ландшафта привычной жизни. Это неоконченный процесс достижения соответствия между человеком и миром, вторжение утопической действительности, имеющей *ценностную* природу, в тавтологию повседневности, продуктивное и деятельное начало человеческого существования. Между тем, художественная практика пришедшей на смену утопии антиутопии демонстрирует обратное. «Перед нами, — оценивает язык романа Е. Замятин *“Мы”* Б. Дубин, — как бы результат феноменологической редукции по Гуссерлю — действительность, очищенная от смысловых напластований и приведенная к “простой” очевидности (поиск такой минималистской словесной оптики активно велся в современной Замятину неорнаментальной русской прозе — Добычиным, внесказовым Зощенко и др.). Понятно, что подобный мир — бессобытиен, а коррелятивное ему сознание не знает рефлексии. Как же возможно повествование о нем, и как оно строится Замятином? Мысль и речь возникают в «зазоре» между полностью рационализированным мирозданием и столь же абсолютно запрограммированным, приравненным к механизму (снова декартовский образ!) субъектом⁴.

На фоне антиутопического засилья в современной литературе роман «Апостат» Анатолия Ливри принципиально утопичен не содержанием, а речевыми смещениями и синтезами. Наброски консервативных утопических устроений общества присутствуют тут в самой стилистике эпатаажных ускольззаний. «Какое исполнинское шило, впившись в самую российскую часть тела человечества заставляет его ёрзать по планете? Неизвестно! План на будущее тысячелетие!?! Установление путешественного геноцида сразу после образовательного! Введение культурного, возрастного и расового цензов на приобретение

авиабилетов! А пуще — разучить их читать! Писание без прохождения экспертизы на наличие паркеровского мышления карается смертной казнью через постепенное (перенятое от гангстерских методов гангрены) отрубание конечностей, начиная с нижних, — как отрезание пути отступления назад, сиречь вверх, на деревья; использование же фотоаппаратов — взыскивать публичным выдиранием глаз под хоровой вой зрителями Людмилы»⁵.

Герой рождается не из головы или ребра, а из затекшего кулака автора, каждый палец которого, отмеченный той или иной каратистской переделкой, имеет свои утопический изгибы. Однако именно с Фаустом ни автор, ни герой себя не соопставляют. «Алексей Петрович умел быть в сновидении сразу и бараном, и Улиссом, и посейдоновым Митрофаном, не преворонившим, однако, некогда, мягкобородый (как феокритова рифма!), голышку Галатею, но, наоборот, овладевшим ею, а после — заточившим в безгласную каменную недвижимость, — со-вокупив миф!».

Все, ранее уже знакомые автору этих строк герои Ливри — авторские. Теперь летит из текстологичнейшей Франции в утопичнейшую (самую утопически состоявшуюся и состоятельную) страну Америку (согласно Ж. Бордийяру) погостить у отца после десятилетней разлуки, но не уживается с мачехой и раньше времени возвращается обратно. Но сюжет тут не главное. Главное, как писал С. Эйзенштейн в статье «Двенадцать апостолов» (о том, как броненосец с таким названием заменил на съемках знаменитого фильма пришедшего в негодность броненосца «Потемкин», как неожиданно медийно аукнулись пресловутые «деревни» светлейшего князя!) — «суметь расслышать и понять то, что подсказывает натура или не-предвиденные точки в знатой вашими замыслами декорации. Суметь вслушаться в то, о чем, слагаясь, говорят монтажные куски, сцены, живущие на экране своей собственной пластической жизнью, иногда далеко за рамками породившей их выдумки, — великое благо и великое искусство»⁶.

Пройдя через «стадо» очередей установленного контроля и усевшись в перелетающем через океан «боинге» герой устраивает ницшиански-шперглеровский, пристрастный и неполит-корректный смотр текущего европейского состояния. Что касается приемной родины: «...До изобретения уравнительного докторского ножа Франция располагала всем для катарсиса — целенаправленного выплескивания древнего адского ужаса, зачатого в кельтских лесах, по коим она так и не извыла бы своего уныния, не разродись она, хохотунья, напоследок бронзоватым Прустом с замогильным Шатобрианом, коему не прощу я его бретонцентризма — карьеристского предательства шуанствования полуденных провинций! Были у Франции и царь — луврский слепок Господа; и знать, ведающая толк в ратной гибели (единственном избавлении от мужеской исконной тоски) да в кондотьерстве чужеземцами; и иноплемённая, распознаваемая по круглым черепам раса илов, сдерживаемая тисками прелести еженедельной григорианской Пасхи — пульмотериапией песнопения с инъекцией багрового постисповедального стыда. Ныне же установленная кельтами иерархия вкупе с из-

² Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. С. 551.³ Болдырев И.А. Время утопии: Проблематические основания и контексты философии Эрста Блоха. М., 2012. С. 25.⁴ Дубин Б.В. Слово-письмо-литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 29.⁵ Ливри А. Апостат. М., 2012. С. 6.⁶ Эйзенштейн С. М. Монтаж. М., 1998. С. 49.

РУССКАЯ УТОПИЯ / RUSSIAN UTOPIA

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Текстологическая бессонница и стилистический утопизм |

давна непроницаемыми перегородками — снесены. Воскресное насилие красоты упразднено. И вот уже выводок мнительных рабов, заарканенных „свободой“ (ну и словечко! зачумлённый анапест! периклова смерть!), разъедает Францию, так и не нашедшую убежища ни в Африке, ни в Палестине, ни в Смоленщине, — а ведь так хотелось сохранить ей свою первозданную частицу, жмуущуюся сейчас к моей попке...»⁷.

Что касается ближайших соседей (какой уж тут Фауст, взгляд авторского соглядатая Набокова пронзителен, как у Вия, получай, Фауст, наш фауст-патрон): «Ранее, лет двадцать назад, с пронзительной склокой и отвращением вырываясь из отрочества, Алексей Петрович видел в швабах эдаких экс-запретно-зверских созданий, сверстников Минотаврова фрышкица: вот-вот развернутся да шуртанут (как возвратившаяся из Египта широкорукавная спартаночка царевна-*raniscola*, внезапно анахронически объемлемая эмбатерием) автоматной очередью, — точно подчиняясь законам древних, покамест неведанных телес, окатят вдруг неразбавленной винной струёй, до самого сердца разъедающей плоть планеты. Восхищение не-другом, некогда попытавшимся растопить себе дорогу в Индию через рифейские льды, российские торосы!»⁸. Сионизм же, получается, был позаимствован «вовсе-не-развязой Жаботинским у д'Аннуциозовых орд».

А когда внизу разверзлась Америка, «разноязыкий вой арабо-турецкой доминантой перекрывал моторные муки, а рассыпавший все бывшие у него в пятнистом подоле непечатные слова стюарт медленно съехал на коврик, выбирируя одноритменной со стеной дрожью, и прижавши к рылообразной середине своего лица маску, тщился изловить увильнувшую от него щиколотку Алексея Петровича, уже совсем развесёлого, нашупывающего ворсистый обрубок своей американской поэмьи, отталкиваясь, будто от назойливой стюардовой шуйцы, от липнувшей мелодии американского гимна, претерпевшего любопытную диффузию с функционерской молитвой Жуковского, кою Алексей Петрович тотчас похерил, заменивши её пушкинской, провидческой, стоящей пяти динамитных премий по физике (вот бы он возрадовался, картёжник!) — там, где про сатурново кольцо над недвижимой перед родами девицей-Земелькой: Детройт был её клитором, отходившие воды солянели, а сам Алексей Петрович завис, сидючи в своей горизонтальной калоше над серповидной цитаделью, которая тотчас и раскрылась перед плюхнувшимся на пылящийся асфальт “боингом”. Ницше, Шпенглер, Камасутра стиля...

Уже при прохождении пограничного контроля «...как некогда нордические Фивы, лишенные косм космосом на логайоне, возрождались в ненарком роком оримяненной России, поработившая её для претаривания сквозь неё нового великого тракта из Греции в Индию, которая по сей день переплетает, запамятовавши их применение, свои замысловатые фасции, не зная, что с ними поделать — то ли обмотать Торой, то ли отослать на знамени Магомета через Уфенau в Боллинген».

А вот и сама суть потребительской Америки, выраженная самим процессом ее интерсивного потребления: «Алексей Петрович славно, одного за другим, громил дрожащие паралле-

лепипеды: говяжьи шматы, точно языки жертвенных быков, уносились Рейном, что делало Америку терпимой, ежели не поднимать на неё глаз далее края тарелки; однако удержать себя за межой Алексей Петрович не умел, а потому подчас умудрялся проскользнуть, вытеревши губы, лицочкина ладонь: не единой веночки с пухлого её тыла! Будто и не человечья кисть вовсе, а рука кукольного жандарма, носящего орден Почётного легиона там, где бондарчуков Бонапарт. И снова разбавляла она эльзасское: половина наполовину, до краёв, и пеной через край! (оновосвященный гельветский рецепт!) — истекание вод неродившей самочки; и снова стискивались крошившие коровий хрящ челюсти Алексея Петровича, управлявшего, покамест, своим ёмким безумием, точно натянувши плетёно-зовыи пертулен, балансируя руками, подводил он триеру разлюбезной Ариаднушке, председательнице оргий; и снова отец, прищуриваясь, прищенивался, будто из трёхлинейки, к безопасной бритве, цепкой цифрой заарканивая наивысшую цену за дюжину лезвий (их истинную стоимость, и сколько заплатит он), высекая искру энтузиазма из Лидочки, отрывающейся (как иной равви от наидетективнейшего пассажа *Барииша*) от карпа, который, судя по глубине рёберных следов в фиолетовой, изрешёченной коричневым груди, попался в сети ещё ратному выкресту Ратмиру»⁹.

«...Есть в ней что-то от бояка Горького», — столь неожиданное впечатление от очертаний тучи лично я, отнюдь не опасаясь «докторского ножа», рассматриваю как косвенное признание моей критической прозорливости (а чего тут скромничать, в контексте столь ярко выраженного эдипова нарциссизма, украшенного «персеевым рефлексом») относительно горьковского литературного происхождения героев писателя, поскольку Максим Горький был куда более откровенным выразителем идей Ницше, чем «Набоков-ницшеанец» (название одной из книг Ливри)¹⁰. Выраженный Горьким человеческой тип — одна из трех ипостасей «Грядущего хама», черты которого Д. С. Мережковский сформулировал в одноименной статье еще в 1906 году.

Эдип, Хам, Фома Неверующей — такова триадеттика героя во взаимоотношениях с отцом, на фоне не менее красноречивой самохарактеристики: «Нарцисс Эльфович Саранский». Эдип и Хамка — такова, между прочим, формула и филологической карьеры автора «Апостата» (завсегдатай Интернета поймет, о чем это я). Вот как описывается первая встреча, с еще небольшой долей невстречи: «Каждый раз, когда взоры Алексея Петровича и Петра Алексеевича скрещивались, они тотчас разбегались, — так коренной парижанин, ненароком угодивший в оккупированные предместья, пугливо отворачивается от многоохих манипулов местного эмира».

Не только «эдипов» эпической комплекс придает аристократизма беспощадному «хамскому» взгляду героя, стремящегося почти осязаемо проверить достоверность своих сыновних сомнений: «Пил Пётр Алексеевич останавливаясь, причмокивая, щурясь и скребя щеку, — Алексей Петрович покосился, проплывши, как ногти отца совершают свой путь, тяжко взлетая вдоль высохшего желоба правого крыла ноздри. Отмечено

⁷ Ливри А. Апостат. С. 78.⁸ Ливри А. Апостат. С. 45.⁹ Ливри А. Апостат. С. 78.¹⁰ Люсый А.П. Поэтика предвосхищения: Россия сквозь призму литературы, литература сквозь призму культурологии. М., 2011. С. 182.

РУССКАЯ УТОПИЯ / RUSSIAN UTOPIA

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Текстологическая бессонница и стилистический утопизм |

было это с той стародавней смекалкой первостатейного тата, царапающего взором (даже успевая ритмически поиздеваться над арифметикой) нерасторопный танец пальцев чужака по клавиатуре банковского аппендикса, — дабы рывок и прыжок во тьму принесли наивысшую прибыль: рачение бездомного, поклонение секундомеру безвременного, воздействие здравомыслия на безумного».

«Впрочем, причмокивал Пётр Алексеевич постоянно, испуская при этом «мда-а-а!», — точно вурдалак, заранее соглашившийся с фогельфрайским фактом ночного полёта, например, туда, в самую гущу чикагского леса, бегущего за окном благоуханной грядой — граммой моего сердца!»¹¹.

Конечно, здесь не эдипов комплекс (ввиду отсутствия напрочь фигуры матери), а эдипов эпос: «А отче осторожно, приподняв проседённую курчавую бровь, — точно лось на валежнике скрытую яму — не на него, на волка! — примерился к преискуранту, мясистой оконечностью фаланги («И у тебя такая будет, Алексей Петрович, когда уже не полыхнуть поперёк листа, — Жги! Жги! Уайя-а-а-а! — дланью твоей, оперённой, с пером сросшейся, как Давид с булыжником в своей праше, как Улисс с пространством!») путешествуя по тернистым кличкам японских блюд, щепотью помогая дактильной Одиссее, да пронавозенным Сизифом обрушиваясь с вершины — в цены».

Эдип и Хамка — а папа, в сущности, тут маргинал, он периодически попросту растворяется в окружающем пейзаже, со всеми вытекающими образными последствиями. «Ты познакомишься с Лидочкой, — и, чрезвычайно многозначительно, пробудя нежданные басовые нотки: — Очень-очень миллия женщина!» — «Ммм-му!» — стакнулся с близоном Алексей Петрович, осматривая ровно обливаемый светло-коричневым электричеством ряд зданий, представленных тотчас причмокнувшим Петром Алексеевичем, как помесь «минимума» и «кондома»: высший эротизм математики! пифагорова тайна!».

Происходит глобальное гендерно-родственное смещение. Вскоре все «хамское» по отношению к отцу и пейзажу сосредотачивается в образе «хамки», в качестве которой начинает раскрываться мачеха.

«Велком! — выдохнула она холодную табачнодымную вилку («великий комиссариат»? «комиссариат по величию»?), Алексей Петрович погрузил обе ладони в стрельнувшие электричеством бока, и, удушаемый украденным «Герланом» у Блока часом, подставлением щёк побил Христов рекорд, пока Пётр Алексеевич вытягивал вещи из распахнутого с нескрываемыми прелюбодеяскими намерениями багажника. — Па-а-ахож! Па-ахож! Как две капли в... а-а-ады-ы! Пахожж! — успокоила Лидочка сызмала волновавшегося Алексея Петровича»¹².

Бульджоки брыльца Лидочки — точь-в-точь такие же! Выше Алексей Петрович покамест не смел взираться взором, хоть и предчуял нечто жёлто-дряблое, чеховскими кулаками метко называемое «кобылой» да сутулое: по степени изогнутости женской спины можно с такой же уверенностью заключить о глупости особы, как по дрожи расплавленной световой точки распознать реку во мраке.

Образные разногласия с отцом переходя в стилистические.

¹¹ Ливри А. Апостат. С. 70.¹² Ливри А. Апостат. С. 73.

«Давай, Алёша, кушать, вот котлетки из рыбки, огурчики, пирожки, вино твоё доставай, — шамкал отец скороговоркой, будто пляжные следы слизывались, с мелкопесчаным шипом, приливом. — Оно уже охладилось, можно пить.

— Нельзя! — рявкнуло в Алексее Петровиче, никогда, кстати, не «кушающем» — да и не «почижающем». Алексей Петрович ел и спал!»¹³.

Тем в большей степени возникает отторжение от мачехи: «Шла Лидочка, ещё злобнее, ещё суще, ещё неотрывнее со средоточивши взор на своих мысках, только чокали каблучки (в каком сне, какой призрак производил подобный кудахтающий, с эховой шляпкой, звук?), — и чуждой казалась тяжко влавившему ноги Алексею Петровичу её способность полностью оставаться на поверхности мысли»¹⁴.

Кульминация романной моторности — то ли автомобильная авария, то ли теракт на улице возле отцовского дома, вызвавшая странный бег-танец героя: «Снова гром, снова вой сирены, коей Алексей Петрович уже пренебрёг, ступивши во тьму, отряхиваясь от призыва отца вопля — одного, второго, третьего, — челюстью стукнувшись о чё-то плечо слоновой кости, коленом спихнувши в канаву вялое женское стечание, он засеменил быстро-быстро, вытянувши перед собой руки, словно новый танцор, вступающий в круг, — мышцами паха уловляя ритменные взрывы. Угодил прямо в темп всеобщего порыва и пошёл, пошёл! залихватски отмеряя холст, — вытаптывая тени розовых бутонов, парящих в бесструктурном пространстве, — покрахтывая, как от первых присядочных обвалов трепака, разогреваясь, и пока жаркая солёная грязь раздавала его, Алексей Петрович постепенно забывал, будто блудный сын родную мольву, собственные тело, имя»¹⁵. Герой и автор, как это периодически случается в романе, меняются местами и телами: «И снова дурной — единственно безвоздорный сейчас бег! Бег сквозь хороводящий, хоровоющий, со мной хорохорящийся американский бор, переиначиваемый мною на окопыченную русскую ногу ценой последних вотчинных средств, получающий с небес долгожданное причастие да добирающий от моего истинного земного безумия то, чем неbosвод не успел его одарить, — точно я стал ночной медуницей, опыляющей буйством Всевышнего оркестру из сбитых столов типа *gymnospermae* — взывающей с неё первый взяток»¹⁶.

Это танец-катарсис (стилистический), танец обретения устойчивости и отталкивания для полета, к которому нудит, впиваясь в бедро, паркер (фига-паркер) в кармане: «Новый континент теперь старательно изыскивал свою ось ощупью, круговорчением, танцем живота, ритмически запирая себя в обруч, клубящийся на сатурнов манер, над омфалосом, в который я и скатился, захлебнувшись в пеняющимся вдоль просеки просекко, после чего долго, — гребцовым воем аккомпанируя усилию и отплёвываясь головастиками в своё отражение, — выкарабкивался из ямы, подтягиваясь на руках к танцующему светилу, хватаясь за корни, оплетая ногами самые тучные из них, да внутренней стороной бёдер (их наизаветнейшим безволосым пятаком!) ощущая вибрацию, — уже повсеместно писистрат-

¹³ Ливри А. Апостат. С. 75.¹⁴ Ливри А. Апостат. С. 145.¹⁵ Ливри А. Апостат. С. 86–87.¹⁶ Ливри А. Апостат. С. 88.

РУССКАЯ УТОПИЯ / RUSSIAN UTOPIA

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Текстологическая бессонница и стилистический утопизм |

ствующую над континентом, переносящую фортельянный напор своих перстов для узлования другой пуповины, дальше, на впервые божественно дикающий юго-запад, — там хватку ослабляющую, отчего бег Алексея Петровича хирел, ноги его, слабея, дрожали, спотыкались, точно его опоили, и он уже куда разумнее выбирал место для своей ступни, — покуда, наконец, не обрушился, измождённый, на прибрежный, ежевикой пахнущий песок¹⁷. Вот, на наш взгляд, опыт стоп-диалектики текста, «секундомера безвременности».

Герой прежде временно прощается с отцом, очертания которого теряются вдали вместе с Америкой. «Тут воды прорвались. Америка скукожилась, и я ещё долго стирал её со скул, скуля, прихорашивал её, тотчас слёзоистечением уподобляясь отцовской близорукости, шмыгал ноздрёй, словно надувал внезапно

спустившийся, но ещё упругий диснеев шар, сожалея, однако, о невозможности татуировать дерму Земли своим страданием: смесью судороги щепоти по перу и рембрандтова *атанизированья* слёз в коричневые чернила — того, что иной пропагандист насилия окрестил бы «любовью к самопищущему перу в дальнем кармане»¹⁸. Ликующее ницшеанское *атеп*, освобождающий скальпель доктора Фрейда и набоковское опружщение возводят к библейской стилистике прощения-отступничества: «Наконец-то, отче, ты оставил меня!». Так внутри самого текста обнаруживается, что российско-европейский диалог сквозь утопическое измерение оборачивается диалогом текста и жанра, ритмом рассеяния и собирания языка, перманентных революции и контрреволюции.

¹⁷ Ливри А. Апостат. С. 88.¹⁸ Ливри А. Апостат. С. 201.